

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ЛУЦИЙ
СЕНЕКА

ЛЮБОВЬ
К СУДЬБЕ



ДЕЛАЙ,
ЧТО
ДОЛЖНО,
И БУДЬ
ЧТО
БУДЕТ!

МАРК
АВРЕЛИЙ

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Философский поединок

Луций Сенека

**Любовь к судьбе. Делай, что
должно, и будь что будет!**

«Алисторус»

УДК 616.89
ББК 88

Сенека Л. А.

Любовь к судьбе. Делай, что должно, и будь что будет! /
Л. А. Сенека — «Алисторус», — (Философский поединок)

ISBN 978-5-00180-477-2

«Любовь к судьбе» («Amor fati») - одно из определяющих понятий учения стоиков, считающих, что с судьбой бороться бесполезно: того, кто не сопротивляется ей, она ведет за собой, а того, кто сопротивляется - тащит. Надо принимать всё, что дает судьба, но как быть с несчастьями, которые в любой момент могут случиться с каждым человеком? Великие римские мыслители Сенека и Марк Аврелий дают ответ на этот вопрос. Душевное спокойствие зависит от многих причин, но, главное, «делай, что должно, и будь что будет», - говорил Марк Аврелий. В книгу вошли наиболее значительные произведения Сенеки и Марка Аврелия, посвященные данной теме. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 616.89
ББК 88

ISBN 978-5-00180-477-2

© Сенека Л. А.
© Алисторус

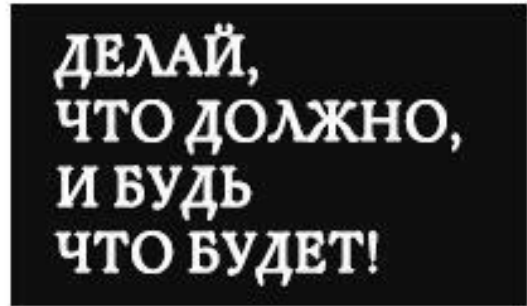
Содержание

Луций Анней Сенека	6
Введение	6
Зачем мы себя обманываем	9
Немало стрел вонзится в нас	15
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Луций Сенека, Марк Аврелий

Любовь к судьбе. Делай, что должно, и будь что будет!

Луций Сенека (Lucius Annaeus Seneca)



Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus)

© Перевод с латинского П. Краснова, С. Янушевского, Л. Урусова, С. Роговина, С. Ошеров, А. Гаврилова, 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Луций Анней Сенека

Все, что мы видим вокруг

(из «Нравственных писем к Луцилию»)

Введение

«Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире». Этому, помню, поучал нас Аттал, когда мы осаждали его уроки, приходили первыми, а уходили последними, и даже на прогулках вызывали его на разговор, между тем как он не только с готовностью, но и с радостью шел навстречу ученикам. «И для учащего, и для учащегося, – говорил он, – цель должна быть одна: польза, которую один желает принести, другой – получить». Кто пришел к философу, тот пусть каждый день уносит с собою что-нибудь хорошее и возвращается домой или здоровее, или излечимее.

Впрочем, так оно и будет: в том и сила философии, что она помогает не только приверженным ей, но и всем, кто имеет с нею дело. Если выйдешь на солнце – загорись, даже если выйдешь не ради этого; если посидишь у торговца притираниями и замешкаешься немного дольше, унесешь с собою запах; побыв рядом с философией, люди, даже не стараясь, непременно извлекут нечто полезное. Обрати внимание, что я сказал «даже не стараясь», а не «даже сопротивляясь».

«Как так? Разве мы не знаем таких, кто много лет просидел у философов – и ничуть даже не загорел?» Знаем, конечно, и столь постоянных и упорных, что я называю их не учениками, а жильцами философов. Многие приходят слушать, а не учиться, – так нас приводит в театр удовольствие, доставляемое слуху либо речью, либо голосом, либо действием. Ты увидишь немалую часть слушателей, для которых уроки философа приют на время досуга. Они и не думают избавиться там от пороков, усвоить какое-нибудь правило жизни, чтобы провредить свои нравы, но желают только услаждения слуха. А ведь некоторые приходят даже с письменными дощечками, – затем, чтобы удержать не мысли, а слова, и потом произнести их без пользы для слушающих, как сами слушали без пользы для себя.

Других возбуждают благородные изречения, и они, подвижные и лицом и душой, преисполнятся тех же чувств, что и говорящий. Этих подстегивает и увлекает красота предмета, а не звук пустых слов. Если мужественно говорят о смерти или с непокорностью – о судьбе, им хочется тут же сделать все, о чем они слышали. Они поддались, они стали такими, как им велено, – если бы только душа их сохранила этот строй, ибо немногие способны донести до domu те намеренья, которыми исполнились.

Нетрудно пробудить у слушателя жажду жить правильно: природа во всех заложила основанья добра и семена добродетели; все мы для нее рождены, и когда придет подстрекатель, добро, как бы уснувшее в нашей душе, пробуждается. Разве ты не видел, каким криком оглашается театр, едва скажут что-нибудь, с чем все мы согласны и о чем нашим единодушием свидетельствуем, что это истина? «Нужда во многом бедным, жадным нужда во всем. Скупец ко всем недобр, но злей всего – к себе». Этим стихам рукоплещет последний скряга, радуясь обличенью своих пороков. Но разве такое действие не было бы, по-твоему, еще сильнее, если бы спасительные наставления исходили из уст философа?

Трудно поверить, как бывает полезна речь, имеющая в виду исцеление, направленная целиком к благу слушателей. Неокрепшим умам легко внушить любовь ко всему правильному и честному; да и над не слишком испорченными и податливыми истина получает право собственности, если найдет умелого ходатая.

Я сам, когда слушал, как Аттал держит речи против пороков, против заблуждений, против всякого зла в жизни, часто жалел род людской, а о нем думал, что он оставил внизу все вершины, достигаемые людьми. А когда он принимался восхвалять бедность и доказывать, что все ненужное есть только лишний груз, обременительный для несущего, – часто хотелось выйти с урока бедняком. Когда же он начинал осмеивать наши наслаждения, восхвалять целомудренное тело, скромный стол, чистый ум, не помышляющий не только о беззаконных, но и об излишних наслаждениях, – хотелось положить предел прожорливости брюха.

Кое-что я удержал с тех пор. Впрочем, приступал я ко всему с большим рвением, а потом, вынужденный вернуться к государственной жизни, немного сохранил от этих добрых начал.

* * *

Если уж я сказал начистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь ею в старости, то не постыжусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор. Сотион рассказывал, почему тот отказывался есть животных и почему, позже, Секстий. У обоих причины были разные, но благородные. Один полагал, что человеку и бескровной пищи хватит и что там, где резня служит удовольствию, жестокость переходит в привычку. И еще он говорил, что нужно ограничивать число предметов, на которые зарится жажда роскоши, что разнообразная пища, чуждая нашему телу, вредна для здоровья.

А Пифагор утверждал, что есть родство всего со всем и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного обличья в другое. Ни одна душа, если верить ему, не погибает и не перестает существовать иначе как на малое время, после которого переливается в другое тело. Мы увидим, сколько временных кругов она пройдет и сколько обиталищ сменит, прежде чем вернется в человека. А покуда она внушает людям страх совершить злодейство и отцеубийство, невзначай напав на душу родителя и железом или зубами уничтожив то, в чем нашел приют дух какого-нибудь родича.

Сотион не только излагал это, но и дополнял своими доводами: «Ты не веришь, что души распределяются по все новым и новым телам? Что именуемое нами смертью есть только переселение? Не веришь, что в теле этих скотов, этих зверей, этих подводных обитателей пребывает душа, когда-то бывшая человеческой? Что все во вселенной не погибает, а только меняет место? Не веришь, что не одни небесные тела совершают круговые движения, но и живые существа исчезают и возвращаются, и души переходят по кругу? Но в это верили великие люди! Так что воздержись от суждения и оставь все как есть. Если это правда, то не есть животных – значит быть без вины; если неправда – значит быть умеренным. Велик ли будет урон твоей жестокости? Я только отнимаю у тебя пищу львов и коршунов».

Под его влиянием я перестал есть животных, и по прошествии года воздержание от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижней; впрочем, сегодня я не взялся бы утверждать, что это так.

Ты спросишь, как я от этого отошел? Время моей молодости пришлось на принципат Тиберия: тогда изгонялись обряды инородцев, и неупотребление в пищу некоторых животных признавалось уликой суеверия. По просьбам отца я вернулся к прежним привычкам; впрочем, он без труда убедил меня обедать лучше. Аттал всегда хвалил тот матрас, который сопротивляется телу; я и в старости пользуюсь таким, что на нем не останется следов лежания.

Я рассказал тебе об этом, чтобы ты убедился, как силен у новичков первый порыв ко всему хорошему, если их кто-нибудь ободряет и подстегивает. Но потом одно упускается по вине наставников, которые учат нас рассуждать, а не жить, другое – по вине учеников, которые приходят к учителям с намереньем совершенствовать не душу, а ум. Так то, что было философией, становится филологией.

Но чтобы мне самому, отвлекшись, не соскользнуть на путь филолога, напоминаю тебе, что и слушать и читать философов нужно ради достижения блаженной жизни, и ловить следует не старинные или придуманные ими слова либо неудачные метафоры и фигуры речи, а полезные наставленья и благородные, мужественные высказыванья, которые немедля можно претворить в действительность. Будем выучивать их так, чтобы недавно бывшее словом стало делом.

Я сказал все, что хотел тебе сообщить, а теперь я пойду навстречу твоему желанью и то, чего ты требовал, перенесу в другие письма, чтобы ты не брался усталым за дело спорное, которое надобно слушать, с любопытством насторожив уши.

Зачем мы себя обманываем

Я никому не отдался во власть, ничьего имени не принял и, хотя верю суждениям великих людей, признаю некоторые права и за моими собственными. Сами великие оставили нам не только открытия, но и много ненайденного. Может быть, они и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего. Но много времени отняли у них словесные тонкости и полные ловушек рассуждения, лишь оттачивающие пустое остроумие. Мы запутываем узлы, навязывая словам двойной смысл, а потом распутываем их. Неужели так много у нас свободного времени? Неужели мы уже знаем, как жить, как умирать? Вот к чему следует направить все мысли. Не в словах, а в делах нужна зоркость, чтобы не быть обманутым.

Дурное мы любим как хорошее, одной молитвой опровергаем другую. Желания у нас в разладе с желаниями, замыслы – с замыслами. А как похожа лесть на дружбу! Она не только ей подражает, но и побеждает ее, и обгоняет: ведь для нее-то и открыт благосклонный слух, она-то и проникает в глубину сердца, приятная нам как раз тем, чем вредит. Вкрадчивый враг подошел ко мне под личиной друга, пороки подбираются к нам под именем добродетелей; наглость прикрывается прозвищем смелости, лень зовется умеренностью, трусливого принимают за осторожного. Здесь-то нам блуждать всего опасней, – так отметь каждый предмет явным знаком.

Все равно спрошенный о том, «есть ли у него рога», не будет так глуп, чтобы ощупать себе лоб, не будет так глуп и слабоумен, чтобы не знать правды, даже если ты приведешь в доказательство свое хитрое умозаключение. Это – обман безобидный, как чашки и камешки фокусников, где само надувательство доставляет удовольствие: сделай так, чтобы я понял, как все получается, – и пропал весь интерес. То же самое и с этими ловушками (а как иначе мне назвать софизм?): не знающему они не вредят, знающему – не доставляют удовольствия.

А если ты все-таки хочешь разбираться в словах двоякого смысла, то объясни нам, что блажен не тот, кого толпа считает блаженным, к кому стекается много денег, но тот, чье благо все внутри, кто прям и высок духом и презирает то, что других восхищает, кто ни с кем не хотел бы поменяться местами, кто ценит человека лишь как человека, кто избирает наставницей природу, сообразуется с ее законами, живет так, как она предписывает, у кого никакая сила не отнимет его блага, кто и беды обернет ко благу, кто тверд в суждениях, непоколебим и бесстрашен, кого иная сила и взволнует, но никакая не приведет в смятение, кого фортуна, изо всех сил метнув самое зловерное свое копье, не ранит, а только оцарапает, да и то редко. Потому что прочие ее копья, которыми она валит наземь род людской, отскакивают, словно град, который, ударяясь о крышу, шумит и тает без ущерба для обитателей дома.

Вся жизнь лжет мне: ведь она считает по большей части излишнее – необходимым; но даже и не излишнее часто неспособно сделать нас счастливыми и блаженными. Ведь то, что необходимо, не есть непременно благо: мы унижим понятие блага, если назовем этим словом хлеб или мучную похлебку, или что-нибудь еще, без чего не проживешь. Что благо, то всегда необходимо, что необходимо, то не всегда благо, коль скоро и самые низменные вещи бывают необходимы. Нет такого, кто настолько не знал бы достоинства блага, что мог унижить его до повседневных надобностей.

Так не лучше ли перенести свои усилия и постараться доказать всем, как много времени тратится на добывание ненужного, как много людей упускает жизнь, добывая средства к жизни? Испытай каждого в отдельности, поразмысли обо всех: жизнь любого занята завтрашним днем.

Ты спросишь, что тут плохого? Очень много! Ведь эти люди не живут, а собираются жить и все и вся откладывают. Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы

еще медлим, она проносится, словно и не была нашей, и, хотя кончается в последний день, уходит от нас ежедневно.

* * *

Слепые просят поводыря, а мы блуждаем без вожатого и говорим: «Я-то не честолюбив, но в Риме иначе жить нельзя! Я – не мот, но город требует больших расходов! Что я вспылчив, что не выбрал еще для себя образа жизни, – все это не мои пороки: в них виновна моя молодость!» Что же мы себя обманываем? Наша беда не приходит извне: она в нас, в самой нашей утробе. И выздороветь нам тем труднее, что мы не знаем о своей болезни. Начни мы лечиться – скоро ли удастся прогнать столько хворей, и таких сильных? Но мы даже не ищем врача, хотя ему пришлось бы меньше трудиться, позови мы его раньше, пока порок не был застарелым: душа податливая и неопытная легко пошла бы за указывающим прямой путь.

Трудно вернуть к природе только того, кто от нее отпал. Мы стыдимся учиться благомыслию; но право, если стыдно искать учителя в таком деле, то нечего надеяться, что это великое благо достанется нам случайно. Нужно трудиться, – и, по правде, труд этот не так велик, если только, повторяю, мы начнем образовывать и исправлять душу прежде, чем порочность ее закоренее. Но и закоренелые пороки для меня не безнадежны.

Нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа и заботливое лечение. Можно сделать прямыми искривленные стволы дубов; выгнутые бревна распрямляет тепло, и вопреки их природе им придают такой вид, какой нужен нам. Так насколько же легче принимает форму наш дух, гибкий и еще менее упругий, чем любая жидкость!

Нельзя отчаиваться в нас по той причине, что мы в плену зла и оно давно уже нами владеет. Никому благомыслие не досталось сразу же, – у всех дух был раньше захвачен злом. Учиться добродетели – это значит отучаться от пороков. И тем смелее мы должны браться за исправление самих себя, что однажды преподанное нам благо переходит в наше вечное владение. Добродетели нельзя разучиться. Противоборствующие ей пороки сидят в чужой почве, потому их можно уничтожить и искоренить; прочно лишь то, что на своем месте. Добродетель сообразна с природою, пороки ей враждебны и ненавистны. Но хотя воспринятые добродетели ни за что нас не покинут и сбросить их легко, начало пути к ним трудно, так как первое побуждение немощного и больного разума – это испуг перед неизведанным. Нужно принудить его взяться за дело, а потом лекарство не будет горьким: оно доставляет удовольствие, покуда лечит. Все наслаждение от других лекарств – после выздоровления, а философия и целебна, и приятна в одно время.

Мы должны бежать подальше от всего, чем возбуждаются пороки. Душу нужно закалять, уводя ее прочь от соблазна наслаждений. Одна зимовка развратила Ганнибала, победивший мечом был побежден пороками. Мы тоже должны быть солдатами, и та служба, что мы несем, не дает покоя, не позволяет передохнуть. В первой же битве нужно победить наслаждение, которое, как ты видишь, брало в плен и свирепых по природе. Если кто себе представит, за какое большое дело берется, тот узнает, что избалованностью да изнеженностью ничего не добьешься. Что мне эти горячие озера? Что мне потельни, где тело охватывает сухой пар, выгоняющий прочь влагу? Пусть выжмет из меня пот работа!

Если мы поступим по примеру Ганнибала: прервем все дела, прекратим войну и начнем старательно холить тело, то всякий заслуженно нас упрекнет в несвоевременной праздности, опасной не только для побеждающего, но и для победителя. А нам дозволено еще меньше, чем шедшим за пунийскими знаменами: больше опасностей ждет нас, если мы отступим, больше труда – если будем упорствовать.

Фортуна ведет со мною войну; я не буду выполнять ее веленья, не принимаю ее ярма и даже – а для этого нужно еще больше доблести – сбрасываю его. Мне нельзя изнеживать душу.

Если я сдамся наслаждению, надо сдаться и боли, и тяготам, и бедности; на такие же права надо мною притязает и гнев, и честолюбие; вот сколько страстей будет влечь меня в разные стороны, разрывая на части.

Мне предложили свободу; ради этой награды я и стараюсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая; низвести фортуна на одну ступень с собою; а она, едва я пойму, что могу больше нее, окажется бессильна надо мною.

* * *

Я прилежно читаю Секстия; философ великого ума, он писал по-гречески, мыслил по-римски. Один образ у него меня взволновал. Там, где врага можно ждать со всех сторон, войско идет квадратным строем, готовое к бою. Так же, говорит он, следует поступать и мудрецу: он должен развернуть во все стороны строй своих добродетелей, чтобы оборона была наготове, откуда бы ни возникла опасность, и караулы без малейшей суматохи повиновались бы каждому знаку начальника.

Мы видим, как в войсках, если во главе их великий полководец, приказ вождя слышат сразу все отряды, расставленные так, чтобы сигнал, поданный одним человеком, сразу обошел и пехоту, и конницу; то же самое, говорит Секстий, еще нужнее нам. Ведь солдаты часто боятся врага без причины, и дорога, что кажется самой опасной, оказывается самой надежной. Для глупости нигде нет покоя: и сверху, и снизу подстерегает ее страх, все, что справа и слева, повергает ее в трепет, опасности гонятся за ней и мчатся ей навстречу; все ей ужасно, она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от любого набега вниманием: пусть нападает на него хоть бедность, хоть горе, хоть бесславье, хоть боль – он не отступит, но смело пойдет им навстречу и пройдет сквозь их строй. Многое связывает нас руки, многое нас ослабляет; мы давно погрязли в пороках, и отмыться нелегко: ведь мы не только испачканы, но и заражены.

Чтобы нам не скакать от образа к образу, я разберусь в том, о чем часто размышляю про себя: почему глупость держит нас так упорно? Во-первых, потому, что мы даем ей отпор робко и не пробиваемся изо всех сил к здоровью; во-вторых, мы мало верим найденному мудрыми мужами, не воспринимаем его с открытым сердцем и лишены в таком важном деле упорства.

Как добыть довольно знаний для борьбы с пороками тому, кто учится лишь в часы, не отданные порокам? Никто из нас не погрузился в глубину, мы срывали только верхушки и, занятые, считали, что с избытком довольно уделять философии самое ничтожное время. А больше всего мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, – и мы соглашаемся с ними. Нам мало умеренных похвал: мы принимаем как должное все, что приписывает нам бесстыдная лесть; мы киваем тем, кто утверждает, будто мы лучше всех, мудрее всех, хотя и знаем их за лжецов. Мы так к себе снисходительны, что хотим похвал за то, вопреки чему поступаем. Обрекающий на пытки слушает речи о своей кротости, грабящий чужое – о своей щедрости, предающийся пьянству и похоти – о своей воздержности.

Александр, когда расхаживал уже по Индии, разоряя войной племена, о которых и соседи мало что знали, при осаде какого-то города объезжал стены, чтобы высмотреть слабые места, и при этом был ранен стрелой, однако остался в седле и продолжал начатое. Потом, когда кровь остановилась, сухая рана стала болеть сильнее, а голень, свешивавшаяся с коня, постепенно опухла, он вынужден был отступить и сказал: «Все клянутся, будто я сын Юпитера, но это рана всем разглашает, что я человек». Будем и мы поступать так же. Хотя лесть всех делает дураками, каждого в свою меру, скажем и мы: «Вы называете меня разумным, а я сам вижу, сколько бесполезных вещей желаю, как много вредного хочу; я не понимаю даже того, что животным указывает насыщение, – меры в еде и в питье, и не ведаю, сколько могу вместить».

Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен; он живет наравне с богами. А теперь погляди на себя. Если ты не бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если днем и ночью состояние твоего духа, бодрого и довольного собою, одинаково и неизменно, значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты стремишься отовсюду получать всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься, словно к источникам веселья и наслаждения, в том – причина страданий.

Я повторяю, радость – цель для всех, но где отыскать великую и непреходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в пирушках и роскоши, другой – в честолюбии, в толпящихся вокруг клиентах, третий – в любовницах, тот – в свободных науках, тщеславно выставляемых напоказ, в словесности, ничего не исцеляющей. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие улады, вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем, как рукоплескания и крики восхищенной толпы, которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог.

Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца – как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости: ведь мудрец без радости не бывает. А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей. Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный.

«Что же, – спросишь ты, – разве глупые и злые не радуются?» Когда они изнурят себя вином и блудом, когда ночь промчится в попойке, когда от насильственных наслаждений, которые не способны вместить хилое тело, пойдут нарывы, тогда несчастные воскликнут словами Вергилия: «Как последнюю ночь провели мы в радостях мнимых, знаешь ты сам».

Любители роскоши каждую ночь, – как будто она последняя, – проводят в мнимых радостях. А та радость, что достается богам и соперникам богов, не прерывается, не иссякает. Она бы иссякла, будь она заемной, но, не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, того ей не отнять.

* * *

Присмотрись пристальней, что такое наши дела действительно, а не по названию, и ты узнаешь, что большая часть бед – это удачи, а не беды. Как часто становилась причиной и началом счастья так называемая «невзгода»? Как часто встреченное общими поздравлениями событие строит лишнюю ступень над пропастью и поднимает высоко вознесенного еще выше, как будто оттуда, где он стоял, падать безопасно? Но и в самом падении нет никакого зла, надо только разглядеть предел, ниже которого природа никого не сбрасывала. Исход всех дел, повторяю, близок, – одинаково близок и от того места, откуда изгоняется счастливец, и от того, откуда выходит на волю несчастный. Мы сами увеличиваем расстояние и удлиняем путь страхом и надеждой.

Если ты умен, мерь все мерой человеческого удела, не преувеличивай поводов ни для радости, ни для страха. Чтобы сократить время боязни, стоит сократить и время радости. Но почему я только убавляю это зло? Ничего вообще ты не должен считать страшным! Все, что волнует нас и ошеломляет, – пустое дело. Никто из нас не разобрался, где истина, и все заражают друг друга страхом. Никто не отважился подойти ближе к источнику своего смятения и узнать его природу, понять, нет ли в нем блага. Потому-то и верят поныне пустому заблуждению, что оно не изболено. Так пойдем же, до чего важно взглянуться внимательнее, – и станет очевидно, как кратковременны, как шатки, как безопасны причины нашей боязни.

Это неверно, мы страшимся не при свете, а сами разливаем вокруг тьму и не видим, что нам во вред и что – на пользу; всю жизнь мы проводим в бегах и от этого не можем ни остановиться, ни посмотреть, куда ставим ногу. Вот видишь, какое безумье этот безудержный бег в темноте. А мы, клянусь, только о том и стараемся, чтобы нас отозвали попозже, и хоть сами не знаем, куда несемся, упорно продолжаем мчаться тем же путем.

Но ведь может и посветлеть, если мы захотим! Есть только один способ: усвоить знание всего божественного и человеческого, не только окунуться в него, но и впитать, почаще повторять усвоенное и все относить к себе, исследовать, что благо, что зло, а чему эти имена напрасно приписаны, исследовать, что есть честное, что есть постыдное, что есть провиденье.

Но пытливость человеческого ума не останавливается в этих пределах: ему хочется заглянуть и дальше вселенной, понять, куда она несется, откуда возникла, к какому исходу мчит все вещи их необычайная скорость. Мы же оторвали душу от этого божественного созерцания и низвели ее до низменной убогости, чтобы она стала рабыней алчности, чтобы, покинув мир и его предельные области и движущих все властителей, рылась в земле, искала, что бы еще выкопать на горе нам, не довольствующимся лежащим перед глазами.

Нам не на кого жаловаться, кроме как на себя: все гибельное для нас мы сами вытащили на свет, вопреки воле скрывшей его природы. Мы обрекли душу наслаждениям, – а потворство им есть начало всех зол; мы предали ее честолюбию и молве и другим столь же пустым видимостям.

Что же мне посоветовать тебе? Что ты должен делать? Ничего нового: ведь не от новых болезней нужны нам лекарства. Прежде всего ты сам для себя должен разобраться, что необходимо и что излишне. Необходимое ты легко найдешь повсюду; лишнее нужно всегда искать, тратя всю душу. Далее, тебе не за что будет так уж себя хвалить, если ты презришь золотые ложа и посуду в самоцветах. Велика ли добродетель – презреть лишнее? Восхищайся собой, когда презришь необходимое.

Я помню, как Аттал к вящему восхищению всех говорил: «Долгое время меня ослепляло богатство; я цепенел всякий раз, как видел там или здесь его блеск, и думал, что и скрытое от глаз подобно выставляемому на обозрение. Но однажды на пышном празднестве я увидел все богатства столицы, все чеканное золото и серебро, и еще многое, что дороже золота и серебра, и одежды изысканных цветов, привезенные не только из-за нашей границы, но и из-за рубежей наших врагов. Тут были толпы мальчиков, прекрасных и убранством и наружностью, там – толпы женщин, словом, все, что выставила всевластная фортуна, обозревающая свои владения. И я сказал себе: что это, как не разжигание и без того не знающих покоя человеческих вожделений? К чему это бахвальство своими деньгами? Мы собрались здесь учиться жадности. А я, клянусь, унесу отсюда меньше вожделений, чем принес сюда. Я презираю теперь богатства не потому, что они не нужны, а потому, что они ничтожны».

С тех пор всякий раз, когда что-нибудь такое поразит мой взгляд, когда попадется на глаза блистательный дом, отряд лощеных рабов, носилки на плечах красавцев-слуг, я говорю себе: «Чему ты удивляешься? Перед чем цепенеешь? Все это – одно бахвальство! Такими вещами не владеют – их выставляют напоказ, а откуда ими любуются, они исчезают.

Обратись-ка лучше к подлинным богатствам, научись довольствоваться малым и с великим мужеством восклицай: у нас есть вода, есть мучная похлебка, – значит, мы и с самим Юпитером потягаемся счастьем! Но прошу тебя: потягаемся, даже если их не будет. Постыдно полагать все блаженство жизни в золоте и серебре, но столь же постыдно – в воде и похлебке.

«А как же, если их не будет?» Ты спрашиваешь, где лекарство от нужды? Голод кладет конец голоду. А не то какая разница, велики или малы те вещи, которые обращают тебя в рабство? Важно ли, насколько велико то, в чем может отказать тебе фортуна? Эта самая вода и похлебка зависит от чужого произвола; а свободен не тот, с кем фортуна мало что может

сделать, но тот, с кем ничего. Да, это так; если ты хочешь потягаться с Юпитером, который ничего не желает, – нужно самому ничего не желать».

Все это Аттал говорил нам, а природа говорит всем. Если ты согласишься часто об этом думать, то добьешься того, что станешь счастливым, а не будешь казаться, то есть будешь казаться счастливым самому себе, а не другим.

Немало стрел вонзится в нас

Зачем ты опасешься беды, что может произойти с тобою, а может и не произойти? Я имею в виду пожар, обвал дома и прочее, что на нас обрушивается, но не подстерегает нас. Лучше смотри и старайся избежать того, что следит за нами и хочет поймать. Потерпеть крушение, упасть с повозки – все это случаи тяжкие, но редкие; а вот человек человеку грозит ежедневно. Против этой опасности снаряжайся, ее выслеживай внимательным взглядом: нет беды чаще, нет упорней, нет вкрадчивей.

Буря, прежде чем разразиться, грозит нам, здания, прежде чем рухнуть, дают трещину, дым предупреждает о пожаре, – гибель от руки человека внезапна и чем ближе подступает, тем усерднее прячется. Ты заблуждаешься, если веришь лицам встречающих: обличье у них человеческое, душа звериная; или нет, со зверьми только первое столкновение опасно, а кого они минуют, тех не ищут больше, потому что только необходимость толкает их чинить вред. Зверей заставляет нападать или голод, или страх, а человеку погубить человека приятно.

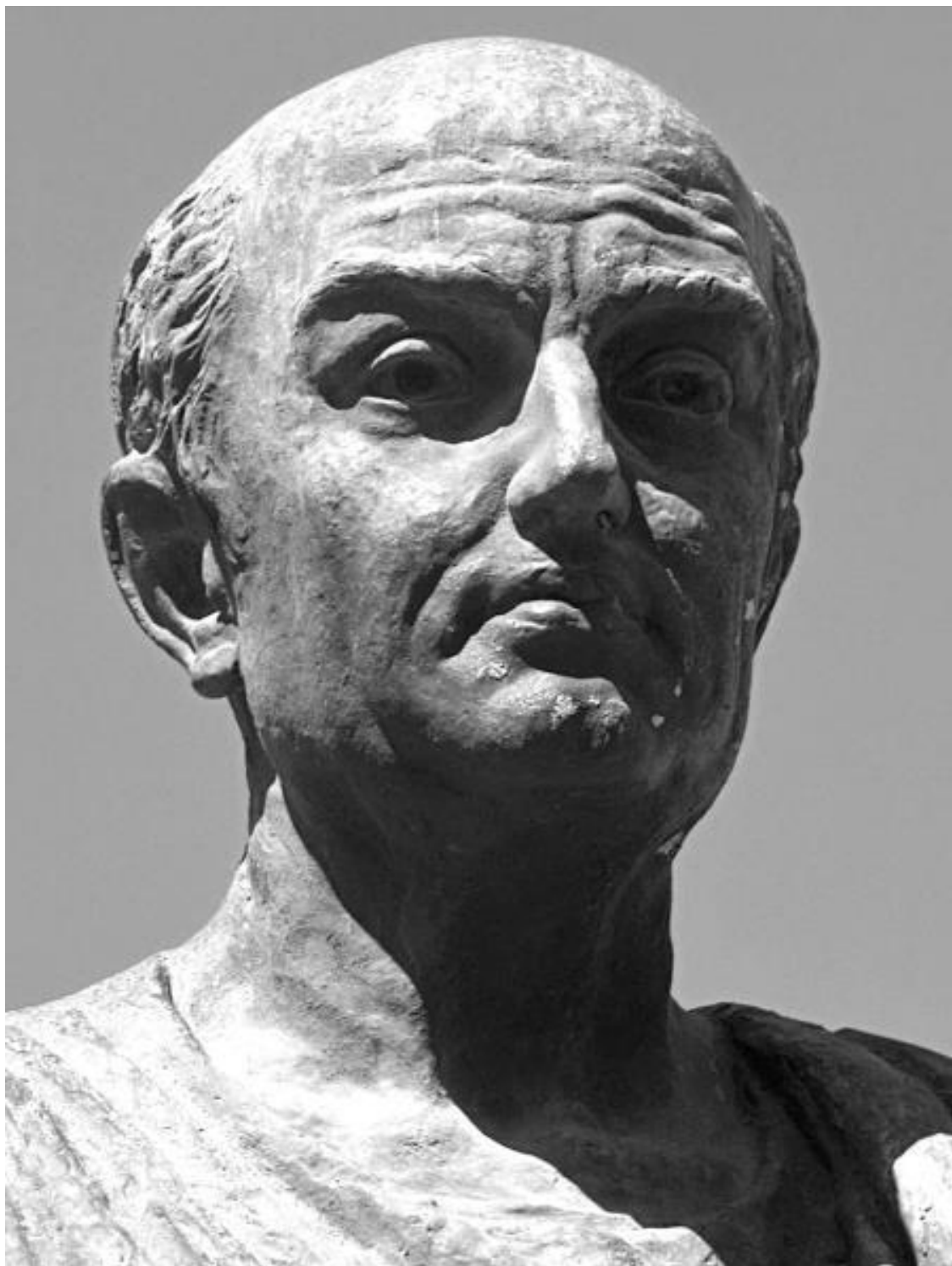
Посмотри сам, что подстрекает человека губить другого, – и ты увидишь надежду, зависть, ненависть, страх, презрение. Из всего названного самое легкое – это презрение: многие даже прятались в нем ради самозащиты. Кого презирают, того, конечно, топчут, но мимоходом. Никто не станет вредить презираемому усердно и с упорством. Даже в бою лежащего минуют, сражаются с тем, кто на ногах.

Для надежды ты не подашь бесчестным повода, если у тебя не будет ничего, способного распалить чужую бесчестную алчность, ничего примечательного. Ведь желают заполучить как раз примечательное и редкое, пусть оно и мало. Зависти ты избежишь, если не будешь попадаться на глаза, не будешь похвально своим благам, научишься радоваться про себя.

Ненависть порождается либо обидами, – но ее ты не навлечешь, если никого не будешь затрагивать, – либо рождается беспричинно, – но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих ненависть бывала опасна: ведь иные вызывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя не будут, если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же люди знают, что тебя задеть не опасно и помириться с тобою можно наверняка и без труда. А если тебя боятся, и дома, и вне его, это тебе же самому плохо: ведь повредить под силу всякому.

Прибавь еще одно: кого боятся, тот и сам боится, кто ужасен другим, тому неведома безопасность. Кто над собою не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, тем больше боятся, трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые совестью, принуждающей их держать перед нею ответ. Кто ждет наказания, тот наказан, а кто заслужил его, тот ждет непременно. Когда совесть нечиста, можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже не пойманный думает, что его вот-вот поймут, он ворочается во сне, и едва заговорят о каком-нибудь злодействе, вспоминает о своем: оно кажется ему плохо скрытым, плохо запрятанным. Преступник может удачно схорониться, но полагаться на свою удачу не может...

Немало стрел, и самых разных, направлено в нас; одни уже вонзились, другие метко посланы и попадут непременно, третьи, хотя попадут в других, заденут и нас. Так не будем удивляться тому, на что мы обречены от рождения, на что никому нельзя сетовать, так как оно для всех одинаково. Да, так я и говорю, – одинаково: ведь даже избежавший беды мог и не уйти от нее; равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Прикажем душе быть спокойной и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных.



Луций Анней Сенека родился в Испании (в Кордове), которая была римской провинцией, в семье ритора, получившего права римского гражданства и носившего такое же имя. В раннем возрасте был привезён отцом в Рим, где учился у пифагорейца Сотииона, стоиков Аттала, Секстия Нигера и Папирия Фабиана.

Философией Сенека-младший увлёкся ещё в юности, хотя из-за влияния отца он чуть было не начал государственную карьеру, которая прервалась из-за внезапной болезни. В результате Луций Анней едва не покончил с собой, а затем надолго уехал для лечения в Египет, где много лет занимался написанием естественно-научных трактатов.

Зима приносит стужу – приходится мерзнуть; лето возвращает тепло – приходится страдать от жары; неустойчивость погоды грозит здоровью приходится хворать. Где-нибудь встретится нам зверь, где-нибудь – человек, опасней любого зверя. Одно отнимет вода, другое – огонь. Изменить такой порядок вещей мы не в силах, – зато в силах обрести величие духа, достойное, мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с природой. А природа переменами вносит порядок в то царство, которое ты видишь. За ненастьем следует ведро; после затишья на море встают волны; по очереди дуют ветры; ночь сменяется днем; одна часть неба поднимается, другая опускается; вечность состоит из противоположностей.

К этому закону и должен приспособиться наш дух, ему должен следовать, ему повиноваться; что бы ни случилось, пусть он считает, что иначе быть не могло, и не смеет бранить природу.

* * *

Я знаю, что у тебя довольно мужества. Ведь и не вооружившись еще спасительными наставлениями, побеждающими все невзгоды, ты уже рассчитывал на себя в борьбе с судьбой – и тем более после того, как схватился с нею вплотную и испытал свою мощь, на которую нельзя полагаться наверняка, покуда не появилось отовсюду множество трудностей, а порой и покуда они не подступили совсем близко. На них испытывается подлинное мужество, которое не потерпит чужого произвола, они проверяют его огнем.

Не знавший синяков атлет не может идти в бой с отвагою. Только тот, кто видал свою кровь, чьи зубы трещали под кулаком, кто, получив подножку, всем телом выдерживал тяжесть противника, кто, упав, не падал духом и, опрокинутый, всякий раз вставал еще более непреклонным, – только тот, вступая в бой, не расстаётся с надеждой.

Так вот, чтобы продолжить это сравнение: часто фортуна подминала тебя, но ты не сдавался, а вскакивал с еще большим пылом и стоял твердо, потому что доблесть сама по себе возрастает, если ей бросают вызов. Однако, если тебе угодно, прими от меня помощь, которая может укрепить тебя.

Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение доставляет нам больше страданий, чем действительность. Я говорю с тобою не на языке стойков, а по-своему, намного мягче. Мы ведь утверждаем, что все исторгающее у нас вопли и стоны ничтожно и достойно презрения. Но оставим эти громкие, хотя, клянусь богами, и справедливые, слова. Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени, когда то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может и вовсе не наступить и уж наверняка не наступило.

Многое мучит нас больше, чем нужно, многое прежде, чем нужно, многое – вопреки тому, что мучиться им вовсе не нужно. Мы либо сами увеличиваем свои страдания, либо выдумываем их, либо предвосхищаем. Первое мы сейчас разбирать не будем: дело это спорное, тяжба только началась. То, что я назову легким, ты – наперекор мне – назовешь мучительным. Я знаю таких, которые смеются под бичами, и таких, которые стонут от оплеухи.

Когда тебя со всех сторон начнут убеждать, будто ты несчастен, думай не о том, что ты слышишь, а о том, что чувствуешь, терпеливо размысли о своих делах (ведь ты знаешь их лучше всех) и спроси себя: «Почему они меня оплакивают? Почему дрожат и боятся даже моего прикосновения, словно невзгода может перейти на них? В самом ли деле это беда или больше слывет бедою?» Расспроси самого себя: «А вдруг я терзаюсь и горюю без причины, и считаю бедою то, что вовсе не беда?»

Ты спросишь: «Откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны?» Вот тебе верное мерило! Мучит нас или настоящее, или будущее, или то и другое вместе. О настоящем судить нетрудно: лишь бы ты был здоров телом и свободен, лишь бы не томила болью никакая обида. Теперь посмотрим, что такое будущее. Сегодняшнему дню нет до него дела. «Но ведь

будущее-то наступит!» А ты взгляни, есть ли верные признаки приближения беды. Ведь страдаем мы по большей части от подозрений, нас морочит та, что нередко оканчивает войны, а еще чаще приканчивает людей поодиночке, – молва. Так оно и бывает: мы сразу присоединяемся к общему мнению, не проверяя, что заставляет нас бояться, и, ни в чем не разобравшись, дрожим и бросаемся в бегство, словно те, кого выгнала из лагеря пыль, поднятая пробегающим стадом овец, или те, кого запугивают неведомо кем распространяемые небылицы.

Не знаю как, но только вымышленное тревожит сильнее. Действительное имеет свою меру, а о том, что доходит неведомо откуда, пугливая душа вольна строить догадки. Нет ничего гибельней и непоправимей панического страха: всякий иной страх безрассуден, а этот – безумен.

Рассмотрим же это дело повнимательней. Вероятно, что случится беда. Но не сей же миг! И как часто неожиданное случается! Как часто ожидаемое не сбывается! Даже если нам предстоит страдание, что пользы бежать ему навстречу? Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать, а поукуда рассчитывай на лучшее. Что ты на этом выгадаешь? Время!

Ведь нередко вмешивается нечто такое, из-за чего надвигающаяся беда, как она ни близка, или задерживается в пути, или рассеется, или падет на голову другому. Среди пожара открывалась дорога к бегству, рухнувший дом мягко опускал некоторых на землю, рука, поднесшая к затылку меч, порой отводила его, и жертве удавалось пережить палача. Ведь и злая судьба непостоянна. Может быть, беда случится, а может, и не случится; пока же ее нет, и ты рассчитывай на лучшее.

Иногда, даже когда нет явных признаков, предвещающих недоброе, душа измышляет мнимые, или толкует к худшему слова, которые можно понять двояко, или преувеличивает чью-нибудь обиду и думает не о том, сильно ли обиженный рассержен, а о том, много ли может сделать рассерженный. Но ведь если бояться всего, что может случиться, то незачем нам и жить, и горестям нашим не будет предела. Тут пусть поможет тебе рассудительность, тут собери все душевные силы, чтобы отбросить даже очевидный страх, а не сможешь, так одолей порок пороком умерь страх надеждой. Пусть наверняка придет пугающее нас – еще вернее то, что ожидаемое с ужасом – утихнет, а ожидаемое с надеждой – обманет. Поэтому взвесь надежды и страхи и всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу – верь в то, что считаешь для себя лучшим. Но пусть даже страх соберет больше голосов, ты все-таки склоняйся в другую сторону и перестань тревожиться, думая про себя о большинстве людей, которые мечутся в волнении, даже если ничего плохого с ними и не происходит, и не грозит им наверное. Ведь всякий, однажды потеряв покой, готов дать себе волю и не станет поверять испуг действительностью. Никто не скажет:

«Кто это говорит – говорит пустое, он либо сам все выдумал, либо другим поверил». Нет, мы сдаемся переносчикам слухов и трепещем перед неизвестным как перед неотвратимым, забывая меру настолько, что малейшее сомнение превращается в ужас.

Но мне стыдно так разговаривать с тобою и подносить тебе такие слабые лекарства. Пусть другие говорят: «Может, это и не случится!» Ты говори: «Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит! А может быть, все будет мне на пользу и такая смерть прославит всю мою жизнь. Цикута окончательно сделала Сократа великим»...

* * *

Я согласен, что нам от природы свойственна любовь к собственному телу, что мы должны беречь его, не отрицаю, что можно его и холить, но отрицаю, что нужно рабски ему служить. Слишком многое порабощает раба собственного тела – того, кто слишком за него боится и все мерит его меркой.

Мы должны вести себя не так, словно обязаны жить ради своего тела, а так, словно не можем жить без него. Чрезмерная любовь к нему тревожит нас страхами, обременяет заботами, обрекает на позор. Кому слишком дорого тело, тому честность недорого. Нет запрета усердно о нем заботиться, но когда потребует разум, достоинство, верность, – надо ввергнуть его в огонь.

И все же, насколько возможно, будем избегать не только опасностей, но и неудобств и скроемся под надежной защитой, исподволь обдумав, как можно прогнать то, что внушает страх. Таких вещей три, если я не ошибаюсь: мы боимся бедности, боимся болезней, боимся насилия тех, кто могущественней нас.

В наибольший трепет приводит нас то, чем грозит чужое могущество: ведь такая беда приходит с великим шумом и смятением. Названные мною естественные невзгоды – бедность и болезни – подкрадываются втихомолку, не внушая ужаса ни слуху, ни зрению, зато у третьей беды пышная свита: она приходит с мечами и факелами, с цепями и зверьми, натравив их стаю на нашу плоть.

Вспомни тут же и о темницах, и о крестах, и о дыбе, и о крюке, и о том, как выходит через рот насквозь пропоровший человека кол, как разрывают тело мчащиеся в разные стороны колесницы, как напивают горячей смолой тунику, – словом, обо всем, что выдумала жестокость.

Так нечего и удивляться, если сильнее всего ужас перед бедствием, столь многоликим и так страшно оснащенным. Как палач, чем больше он выложит орудий, тем большего достигнет, ибо один их вид побеждает даже способного вытерпеть пытку, – так нашу душу легче всего подчиняет и умиряет та угроза, которой есть что показать. Ведь и остальные напасти не менее тяжелы – я имею в виду голод и жажду, и нагноения в груди, и лихорадку, иссушающую внутренности, – но они скрыты, им нечем грозить издали, нечего выставлять напоказ. А тут, как в большой войне, побеждает внушительность вида и снаряжения.

Осмотрительный кормчий держит путь подальше от мест, стяжавших дурную славу из-за водоворотов. То же сделает и мудрый: опасного властителя он избегает, но прежде всего стараясь избегать его незаметно. Один из залогов безопасности – в том, чтобы не стремиться к ней открыто: ведь от чего мы держимся дальше, то осуждаем.

Еще следует нам обдумать, как обезопасить себя от черни. Тут первое дело – не желать того же самого: где соперничество – там и разлад. Во-вторых, пусть не будет у нас ничего такого, что злоумышляющему было бы выгодно отнять: пусть твой труп не даст богатой добычи. Никто не станет или мало кто станет проливать человеческую кровь ради нее самой. Голого и разбойник пропустит, бедному и занятая шайкой дорога не опасна.

Старинное наставление называет три вещи, которых надо избегать: это – ненависть, зависть и презрение. А как этого добиться, научит только мудрость. Тут бывает трудно соблюсти меру: нужно опасаться, как бы, страхась зависти, не вызвать презрения, как бы, не желая, чтобы нас топтали, не дать повода думать, будто нас можно топтать. Многим пришлось бояться оттого, что их можно было бояться. Так что будем умеренны во всем: ведь так же вредно вызывать презренье, как и подозренье.

* * *

Неужели ты сомневаешься в том, что наилучшее средство достичь блаженной жизни – это убеждение в одном: только то благо, что честно? Кто считает благом нечто иное, переходит под власть фортуны и зависит от чужого произвола; а кто ограничил благо пределами честности, – у того счастье в нем самом.

Одного печалит утрата детей, другого тревожат их болезни, третьего мучит их позор или обида, им нанесенная. Того изводит любовь к чужой жене, этого – к своей собственной; найдутся и такие, кого терзает провал на выборах, и такие, кому сама почетная должность не дает

покая. Но самую многолюдную толпу несчастных из числа смертных составят те, кого томит ожидание смерти, отовсюду угрожающей нам, ибо нет такого места, откуда бы она не могла явиться. Вот и выходит, что нам, словно на вражеской земле, надо озираться во все стороны и на всякий шум поворачивать голову. Если не отбросить этот страх, придется жить с трепещущим сердцем.

Встретятся нам и сосланные и лишенные достояния, и те, кому мало их богатств, – а это худший род бедности; встретятся и потерпевшие крушение или подобие крушения – те ничего не ожидавшие и уверенные в будущем, кого либо гнев народа, либо зависть, злейшая пагуба лучших людей, стали швырять, словно буря, как раз тогда и налетающая, когда пловцы доверятся ясной погоде, или поразили, словно внезапная молния, приводящая в трепет всех вокруг. Ибо как в грозу всякий, кто стоял ближе к огню, цепенеет наравне с задетым молнией, так и при всяком несущем беду насилии одного поражает несчастье, остальных – страх, и возможность беды печалит их не меньше, чем потерпевшего – беда. Чужие внезапные горести тревожат душу всех свидетелей. Как птиц пугает звук пустой пращи, так мы бежим прочь не только от удара, но и от шума.

Кто больше всего предан случайному, тому не выпутаться из тревог: слишком много поводов к ним он сам для себя создал. Кто хочет прийти в безопасное место, тому одна дорога: презирать все внешнее и довольствоваться тем, что честно. Ведь кто думает о добродетели, будто есть благо больше нее и кроме нее, тот подставляет полу, чтобы поймать брошенную фортуной подачку, и ждет в тревоге, что же она пошлет.

Нарисуй-ка в душе такую картину: фортуна – устроительница игр – осыпает собравшихся смертных почестями, богатствами, милостями; но кое-что пропадает, разорванное расхватывающими руками, кое-что приходится делить с бесчестными сотоварищами, кое-что приносит великий ущерб тем, кому достается; часть оказывается у тех, кому нет до этого дела, часть теряется, потому что расхватывается слишком жадно, или пропадает на стороне, потому что уносится слишком поспешно. И даже удачно хватавшему захваченное не принесет надолго радости. Так что всякий, кто благоразумней других, едва увидев, как вносят подарки, убегает из театра, зная, до чего дорого обходятся пустяки. Никто не сцепится с уходящим врукопашную, никто не ударит удаляющегося: вся свалка – вокруг добычи.

* * *

Так же обстоит дело и со всем, что с высоты швыряет нам фортуна. Мы, несчастные, бушем, разрываемся на части, жалеем, что рук только две, оглядываемся то в ту, то в эту сторону. Нам кажется, что дары ее, раззадоривающие наши вождельня, раздаются слишком поздно и достаются немногим, хоть ждут их все. Они падают – мы готовы кинуться к ним; захватим что-нибудь и радуемся, что других обманула пустая надежда; дешевая добыча часто стоит нам большой неприятности или обманывает нас, оставив ни с чем. Так уйдем с этих игр, уступим место хватающим! Пусть они зарятся на эти ненадежные блага, чтобы вся их жизнь стала еще более ненадежной.

Высшее благо мы должны хранить в душе; оно лишится всякой цены, если перейдет из лучшей части нашего существа в худшую, если будут полагать его в чувствах, которые у бессловесных животных деятельнее, чем у нас. Нельзя думать, будто плоть – источник высшего нашего счастья. Те блага истинные, которые даются разумом, они и прочны, и постоянны, и не могут ни погибнуть, ни пойти на убыль. Прочие же блага мнимые, имя у них то же, что и у благ истинных, но свойств блага в них нет. Их следует именовать «благополучными» или (лучше скажу на нашем языке) «предпочтительными» обстоятельствами и помнить, что они – наши слуги, а не части нас самих; пусть они будут при нас, но нам нельзя забывать, что они вне нас. Даже покуда они при нас, – причислять их надо к вещам второстепенным и незначительным,

которыми никто не должен кичиться. Есть ли что глупее, чем гордиться собою по поводу того, к чему сам не приложил рук?

Пусть благополучие к нам пришло, – но оно не срослось с нами, так что, если его отнимут, можно потерять его без кровавых ран. Будем пользоваться им, но не похваляться; да и пользоваться будем умеренно, словно доверенным нам достоянием, которое придется вернуть. Неразумный, достигши благополучия, долго его не удержит: ведь счастье, если забыть о мере, само себя душит. Кто поверил мимолетным благам, тот быстро их лишится; а если и не лишится, будет ими раздавлен. Немногим удалось мягко сложить с плеч бремя счастья; большинство падает вместе с тем, что их вознесло, и гибнет под обломками рухнувших опор. Нет стен, непобедимых для фортуны; так возведем укрепления внутри себя!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.